

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б90

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *К. Парсадаяна*

Булгаков, Михаил Афанасьевич.

Б90 Морфий : [сборник] / Михаил Афанасьевич Булгаков. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 256 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-095618-0

В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер, — остроумная, ироничная повесть «Записки на манжетах», посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с «красной» властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в литературе, и потрясающие «Записки юного врача» — почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократ в нишей, почти средневековой российской провинции начала 1920-х. В книгу включен и «Морфий» — пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.

УДК 821.161.1-32

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-095618-0

© М. Булгаков, наследники, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2018

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА

Рассказы

ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это помешалось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостенева-

ют мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились в сапогах, лежали смиренно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич.

«Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

— П... по вашим дорогам, — заговорил я деревянными, синенькими губами, — нужно п... привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, — пятнадцать годов ездю, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеле-

ные бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

...Привет тебе... при-ют свя-щенный...

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнушимися руками, — я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... В Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь

медленную смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

— Эх ты, Госпо... — начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. — Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голосом приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

— Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись,

сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

— Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм...

— Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшествен-

ника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, — утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

— Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Футы, черт, — подумал я, — как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

— Гм... нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слышал о них ничего.

— Леопольд Леопольдович выписал, — с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и как зачарованный глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучительно, — у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятаков. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: “Освойтесь”. Вот тебе и освойтесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безгра-

ничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», — вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и додумал до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, — сказал я голосу, — не обязательна грыжа. Что за неврастения? Взятся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилицы 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу — инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что — порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынувшие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Акси́нья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалывшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», — тоскливо подумал я.

— Что вы, что вы, что вы! — забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекошило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

— Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная! — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. — Ах ты, Господи... Ах... — Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. — За что? За что наказанье?... Чем прогневали?

— Что? Что случилось?! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется — пушай. Пушай! — кричал он в потолок. — Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Акси́ньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.